

ТИХАЯ МОЩЬ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

1

Необыкновенное, тонкое и грозное ощущение Руси у Рубцова выливается в чеканную формулу:

Россия, Русь! Храни себя, храни!

Сколько мет истории, сколь пышных и ярких звёзд высыпано в реальность этим стихотворением:

Пустынный свет на звездных берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг
В крови и жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя!..

Любовь к Руси – не просто характерная черта всякого большого русского поэта: это код творчества, у Рубцова данный в напевности и метафизическом осмыслении дымных исторических далей и торжественного движения рек:

...Как я подолгу слушал этот шум,
Когда во мгле горел закатный пламень!
Лицом к реке садился я на камень
И все глядел, задумчив и угрюм,
Как мимо башен, идолов, гробниц
Катунь неслась широкою лавиной,

И кто-то древней клинописью птиц
Записывал напев ее былинный...

Клинопись птиц – мимолётное, и навсегда остающееся в сознание движение: небесных буквиц, сложенных в дыхание легенд, небесных знаков, дающих грозное или великое предзнаменование...

«Философские стихи», звучащие сгустками смыслов, уведут лестницей времени к осмыслению бытийного кода: будто даётся через образный строй, поддержанный необыкновенной напевностью, код самой Руси...

Но «Философские стихи» – это и подспудный ключ, родником бьющий в большинстве стихов мастера, ибо без осмысления жизни нет жизни: холостая инерция тела, не боле.

А Рубцова в той же мере можно посчитать поэтом-философом, как и словесным живописцем русской жизни – всегда на фоне великолепно выписанных пейзажей.

...ибо и тяжесть может обернуться лёгкостью.

Ибо – угрюмо – столько раз повторённое в одноимённом стихотворении, кончается провидческим просветлением:

И стало угрюмо, угрюмо
И как-то спокойно душе.

Поскольку без высокого спокойствия, выношенного лучшими сынами Отечества, жизнь зашла бы в тупик – когда не провалилась бы в гнилую яму.

2

Холмы возникают, как символы – пейзажа, жизни, тревоги; ибо спокойствие подразумевает гладь; холмы в стихотворении Рубцова, исполненном исторического движения, возникают, светясь былым:

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племён!
Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времён...

Тут не будет «еловой готики русских равнин», и каждая строфа будет замкнута на замок точки; готика эта, перенасыщенным культурологическим раствором, возникнет у Бродского – в стихотворении «Ты поскачешь во мраке...»

И там, и там – быстрое движение.

И там, и там холмы...

Невозможен лесной царь, обернувшийся к стихотворению Рубцова; невозможна жалость к разрушенным церквям в стихотворении Бродского.

Невозможно сближение – и вместе – оно очевидно: так, на противоречиях держится многое.

Таинственная тревога, разлитая в строфах Бродского, пропитана светом луны: или даже – солнцем луны: приглушённым, холодным.

Таинственное путешествие по временам у Рубцова согрето необыкновенной грустью, разлитой в недрах всего его поэтического свода.

Конский топот, страх, одиночество всадника.

Щедрость пейзажа, оборачивающаяся его скудостью.

Движение и холмы, холмы и движение...

Рубцов завершает стихотворение более прозаически; Бродский – уже глаголет не о жизни, а о:

... а другая какая-то боль
приходит к тебе, и уже не слышать, как приходит весна,
лишь вершины во тьме непрерывно шумят, словно маятник сна.

Словно, проскакав положенное, некто оказывается в запредельности.

Или – может быть, не было скачки?

Или всё приснилось всаднику?

Возможно, и стихотворения – такие разные, во многом перекликающиеся, просто приснились авторам, в результате чего поэзия несомненно выиграла...

3

Таинственные мерцания, произвольно ощущаемые чутким читателем, за поэтической формой и сутью стиха, свидетельствуют – помимо подлинности дара – о ненаписанности стихотворения, а об услышанности его, доказуя, таким образом (пусть косвенно) наличие иных измерений, помимо нам привычных.

Ибо – откуда приходят стихи, часто неизвестно и самому поэту...

Ибо, когда мы читаем (перечитываем):

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Мы ощущаем магические, волшебные вибрации: тайны, космоса, далёких недр мироздания.

Самые простые слова, простейшая картинка деревенской жизни, но...

Ведь ночью не приносят воду!

Так не положено, а у сербов (братская культура, братская же мифология) принесённая ночью вода считается не чистой и питию не подлежит.

Так возникает потусторонний колорит, и вся картина, выписанная словесным мастерством Рубцова виртуозно, точно увидена сквозь плёнку, характерную для потустороннего существования, про которое ничего не известно...

Банально повторять, что поэт предчувствовал раннюю смерть, однако вчитываясь:

Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догнет совсем.

Ощущаешь, будто означенные строки именно живописуют не совсем обычную реальность, и лодка... вовсе не то транспортное средство, что известно всем.

И хоть дальше говорится о грядущем дне, завершение стихотворения можно воспринимать двойственно:

Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...

Лодка тут, возможно, та, что увозит в последнюю запредельность...

Так, вроде бы простой деревенский колорит стихотворения раскрывается вдруг совершенно инако: оно вырастает до фантастического мистического цветка, чьи лепестки отсвечивают такой тайной, которую разгадать не представляется возможным.

4

Святая Русь и Родина-мать; волшебный, осиянный Китеж, бесконечно всплывающий и никак не всплывуший; богатыри, потеснённые современностью; святые, оставшиеся в золотых недрах веков...

Мало у какого народа есть такое отношение к Родине.

Старая добрая Англия?

Да, но это больше связано с земным.

Прекрасная Франция?

Опять же – шанс победы...

Разве что мать Индия, великая, переливающаяся огнями небесных самоцветов страна...

И – Русь.

И мало кто из поэтов так выразил чувство Родины, жившее во многих (сейчас уже – под гнётом технократизма и колоннами капитала – вряд ли):

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Хрестоматийные, но – каждый раз по-новому звучащие строки; нежность тишины, всеприемство – в духе великого утописта и провидца Николая Фёдорова – данные началом стихотворения:

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

Тут тишина икон, великое молчание пакибытия, разлив смыслов, как разлив рек, чьи излучины так серебряно-точно передавал Михаил Нестеров.

Рубцову достаточно бы было написать одно стихотворение, чтобы засияло оно, каждой гранью облучая грядущих людей, достаточно, но...

У него – несмотря на его полубезумную, архитяжёлую, насквозь пробитую жизнь – целый пласт стихов; стихов, где слова стоят густо, где подогнаны они одно к другому так, что невозможен скальпель критического разреза:

Стоит жара. Летают мухи.
Под знойным небом чахнет сад.
У церкви сонные старухи
Толкутся, бредят, верещат.

Это – навскидку, просто пример, выписывать можно долго.

Но главное, что определяло, что звучало через стихи Рубцова: голос России – России тихой, со скорбными избами, бесконечными, уходящими в «небеси» пластами полей, и – будущей: России Китежа, солнца духа и света, которого нам не представить сейчас.

5

От родного воздуха – то прокалённого зимним морозом, то прогретого лучевой силой солнца – идущие стихи: с тою мерой естественности, как будто и не написаны они: услышаны, со зримостью образов, точно перешедших, легко и добровольно, в них: такие народные...

Понятие «народность» – применительно к поэзии – сильно третирировалось последние годы, пожалуй, оно вообще сведено на нет; тем не менее именно ощущение пульсаций, идущих в плазме, в гуще народа, определяет высоту и подлинную меру стиха.

Н. Рубцов слышал её: пульсацию народа, тонкие токи земли.

С каждой избой и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Как мощно, легко и природно, выдохнуто, введено в реальность...

Молитва словно мерцает за строками: высокая, данная силою небесных пластов, великолепно-поэтическая молитва.

...а вот – низовое, вечно бурлящее и бушующее в русском естестве, не поддающемуся сужению:

Сколько водки выпито!
Сколько стекол выбито!
Сколько средств закошено!
Сколько женщин брошено!
Чьи-то дети плакали,
Где-то финки звякали...

Эх, сивуха сивая!
Жизнь была... красивая!

Страшно и точно, или – страшно точно.

...кладбище часто возникает в поэзии Рубцова: и как конкретика, ожидающая всех, и как глобальный символ; кладбище, чьи могилы становятся звёздами, перекликающимися таинственно с пургой:

Я пойду по угрюмой тропе,
Чтоб запомнить рыданье пурги
И рождённые в долгой борьбе
Сиротливые звезды могил.

Но звёзды иные манили Рубцова – сияющие из запредельных пространств духа, обещающие преображение всего: через грусть, через сквозные, и такие вроде бы спокойные ритмы хрестоматийного стихотворение «В горнице моей светло...», через всё бездорожье российское, головоупяство, частое нежелание убирать грязь у себя под ногами: звёзды той силы и тайны, которые рождали легенды о запредельном будущем, которое должно состояться, которое творится уже сейчас: в том числе благодаря высотам, которые может предложить поэзия.

6

Чудо Рубцова – в простоте интонации: такой общедоступной, такой своей...

Неповторимость каждого природного вида обретает неповторимость поэтической формулы; и они, соединённые в свод, сияют своеобразным исследованием России: тихой Родины.

Она тихая, кроткая, тяготеющая к святости.

Она тонущая в пьянстве, не способная убрать грязь под ногами.

Рубцов не отворачивался ни от чего, исследуя полюса, организующие русский космос...

Или он должен состоять только из лучевидных сияний?

Линии лучей-строк Рубцова очень тонки: они входят во многие души, облагораживая их, заставляя иначе чувствовать, несколько иначе думать...

И продолжает длиться чудо: простоты, естественности интонации – будто поэт дышал стихом, как воздухом...

КИТЕЖ И КОСМОДРОМЫ НИКОЛАЯ ТРЯПКИНА

От деревни – до космоса: стихи, обнимающие пространство, пронизывающие его движением незримых дуг – мысли и ощущений; Тряпкин, напряжённо чувствуя мистику русской деревни, в чём-то продолжая линии Клюева, но будучи совершенно самостоятельным, зная до подоплёки бытование в недрах деревни, точно прозревал за космодромами мистику всеобщности, о которой некогда вдохновенно писал старый русский философ Фёдоров...

И космодромы Тряпкина пронизаны ощущением храма (в определённом смысле таковым можно рассмотреть и саму вселенную):

Где-то есть космодромы,

Где-то есть космодромы.

И над миром проходят всесветные громы.

И, внезапно издав ураганные гаммы,

Улетают с земли эти странные храмы,

Эти грозные стрелы из дыма и звука,

Что спускаются кем-то с какого-то лука,

И вонзаются прямо в колпак мироздания,

И рождаются в сердце иные сказанья:

А всё это Земля, мол, великая Гея
Посылает на небо огонь Прометея,
Ибо жизнь там темней забайкальского леса:
Даже в грамоте школьной никто ни бельмеса.

Шум и ширь двадцатого века, открывшего возможность человека ворваться в космос (словосочетание «покорение космоса», конечно, нелепо, учитывая соответствующие масштабы человека и того сверх-океана просторов), слишком противоречили деревенскому укладу, который возникает в следующей строфе платформой противопоставления:

А в печах в это время у нас в деревнюшке
Завывают, как ведьмы, чугунные вьюшки,
И в ночи, преисполненной странного света,
Загорается печь, как живое магнето.
И гашу я невольно огонь папироски,
И какие-то в сердце ловлю отголоски,
И скорее иду за прогон, к раздорожью,
Где какие-то спектры играют над рожью...

Столь многое смешалось в алхимическом сосуде стихотворения Тряпкина!

Столь многие элементы, играя сложными огнями-оттенками, легли в него, суля своеобразии словесного пламени: здесь и органы, чей стволовой лес издаёт космическое гудение, и деревенские вьюшки, отсылающие к патриархальной неизменности, и колпак мироздания, и грохочущие ураганные гаммы...

Тряпкин – сложный поэт: поэт, совмещающий полюса, – и нечто едва уловимое, нежнее пуха гагары вливается в жёсткие ритмы, сглаживая контура; и мелодия стиха отражается – мистически и метафизически – в прекрасно отполированных зеркалах вечности, мироздания, непредставимости.

Но – «Летела гагара...» – и образы лесные, солнечные, косматые прорастают сквозь страницу:

Летела гагара,
Летела гагара
На вешней заре.

Летела гагара
С морского утеса
Над тундрой сырой.

А там на болотах,
А там на болотах
Брусника цвела.

Кричала гагара,
Кричала гагара
Над крышей моей.

Кричала гагара,
Что солнце проснулось,
Что море поет.

Что солнце проснулось,
Что месяц гуляет,
Как юный олень.

Море синее – в финале; северное, где в оттенках волн много белизны, море предстаёт вариантом пристанища Китежа: вечно не всплывающего, сулящего покой и гармонию вечно мятущемуся русскому духу.

Китеж – расписанный по-княжески: с драгоценными узорами райских трав, с невиданными зверьми, чьи глаза исполнены мудростью и кротостью, с разнообразием сказочных троп, что начинают виться за ним, обещая новое содержание жизни.

Китеж Тряпкина – волшебными огнями осиянный, северный, самородный, славный.

И он – в пределах самой привычной жизни, отблеск его играет на листьях дубовых, живописанных с философской страстью и той особой оптикой, что отличала поэзию Тряпкина:

Листья дубовые! Сучья угластые!
Злат ворошок!
Дайте подвесить под сени гривастые
Думный мешок!

Пусть он качнется под той наговорною
Кущей моей.
Пусть она схлынет, вся нежить упорная,
С наших полей.

Добрую силу, густую, медяную,
Дайте ветрам.
Сыптесь в рубашку мою полотняную,
Кланяюсь вам!

Угластые! – какое горластое, но и дерущее слово!

Как мощно встроено оно в пространство – всё более и более в наши дни насыщающееся компьютерно-деловым словесным стандартом.

...и какая народная мудрость заключена в поклоне – листьям, дубу, ветру...

Онтологический ветер крепко продувал поэзию Тряпкина.

А вот – море, белизна его, русский эпос, словно гонящий волны, чей росчерк на береговой кромке так похож на начертания букв иц праязыка (также и узоры на древесной коре):

Белая отмель. И камни. И шелест прилива.
Море в полуденном сне с пароходом далёким.
Крикнешь в пространство. Загрёшь. Никакого отрыва.
Сладко, о море, побыть на земле одиноким.

Где-то гагара кричит над пустынею водной.
Редкие сосны прозрачны под северным светом.
Или ты снова пришёл – молодой и безродный –
К тундрам и скалам чужим, к неизвестным заветам?

Снова гагара – любимая птица поэта; и – одиночество, что становится медовым.

Поэт, в сущности, есть одиночество в квадрате, если не в кубе, ибо только в его недрах может вызреть гроздь стихов.

Или – могут проявиться их письма: не имеющие ничего общего с грозно-предупреждающими, возникшими на знаменитом библейском пиру.

...совсем простой: даже не стих – скорее стишок, вроде бы отдающий детской считалочкой, но – взглядеться коли, вслушаться – растёт из него философское древо осознания – роли и доли, русскости и планетарного её космоса:

Не бездарна та планета,
Не погиб еще тот край,
Если сделался поэтом
Даже Тряпкин Николай.

Даже Тряпкин Николай
Ходит прямо к богу в рай.
И Господь ему за это
Отпускает каравай.

Караваи Тряпкина были выпечены изрядно: хватит духовной пищи надолго...

Ноздреватый, тёплый хлеб его стихов питает даже опустошённые уголки взыскующих душ...

Травы, возвращённые Тряпкиным, имеют райские признаки; тонкие завитки мыслей и ощущений так красиво инструментованы и преподнесены – пространству, граду, миру, конкретному читателю...

Песня его вздымается высоко: в ней есть и византийское, от икон и базилик, от лестниц и огненной аскезы; есть и деревенское – родное, избяное, тёплое, и есть – всеобщее, грандиозным куполом объединяющее макрокосм.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ВЛАДИМИРА МАКАРЕНКОВА

Мир, сконцентрированный в луче любви, раскрывается разнообразием глубин и красок, в том числе поэтических, и В. Макаренков, чётко обозначив своё отношение к предложенному пространству, ярко зажигает свои поэтические огни:

«Люблю...», – не ново, плагиат.
Но повторю я грешный:
Люблю восход, люблю закат,
Как щебет из скворечни!

Люблю, когда ветра шутя
Доводят лес до дрожи,
Когда жемчужины дождя
Блестят на ствольной коже!

Нежность множится на собственную оптику, и вспыхнувшие жемчужинки кажутся волшебством воды: как мощное гудение прилагательного «ствольной»...

Строки тяготеют к формулам краткости, и ёмкость, присущая им, крепко характеризует поэта.

Раскрываются цветы бытия, каким свойственен свой язык:

Цветы слагают на свету
Свое живое слово
И выражают красоту
И смысл всего живого.

Ибо поэзия есть свойство мира: такое же первоосновное, как математика (если верить утверждению Галилея), и Макаренков, чувствуя с тонкостью сейсмографа необыкновенное в обыкновенном, чудо в повседневности, разбивает свой поэтический сад, культивируя разные растения.

Есть грозовые раскаты в его поэзии, есть богатырское начало – уводящее к корням былин:

Алёша, Илья и Добрыня.
Легенды славянских племён.
Звучит богатырское имя
Грозиво из древних времён.

Защитник для рода! А ныне –
Не имя, а кличка для душ.
Не встретишь в народе Добрыни,
И нет тех Алёш и Илюш.

Но... путь от корней бытия к современности и участие в одной не дают, увы, оптимистического лада: слишком всё разворочено, слишком изувечено само бытие в нынешней отчизне, где змеиный эгоизм и костляво-бессмысленный прагматизм объявлены чуть ли не наиважнейшими качествами человека.

Разумеется, поэзия противостоит оному: ибо она – всегда от светового начала.

Именно современность подвергается нелицеприятному анализу в поэзии Макаренкова: сарказм есть своеобразная мазь, наносимая на раны и расчёсы социума:

Богу – богово,
А человеку – логово.
Со светом, газом,
Фаянсовым унитазом.
Да конём личным.

Желательно – заграничным.
Газуй да рули!..
А ещё бы... ещё рубли.
Да венец власти...
– Алло! Алло! Бог? Ну, здрасте...
...Нет вакансии?..
Чёртово безобразие!

Точно обрисованное состояние современной жизни свидетельствует об особой оптике поэта, замечающего главное...

А то, что главное это отливает антрацитом – не вина поэта.

И проглядывает от оною состояния общества серая безысходность: шершавая, как наждак – проходящийся по сердцу.

Но – чудо мира остаётся чудом, и крошечное существо, всем знакомое с детских лет – божья коровка – подтверждает это не хуже, чем... скажем, громады гор:

Приложишь к уху – и неловко
За детской страсти волшебство.
Шуршит пленённая коровка, –
Как все мы, – божье существо.

В. Макаренков болеет Россией: нерв, раскалённо-вибрирующий – за долю её в ядоли, за боли и скорби, одолевающие отчизну, проходит сквозь многие стихотворения поэта:

В годину крушения и передела
Пытался я образ России найти.
В смятенье душа о свободе радела,
Наивно мечталось о вышнем пути.

Остался я с образом шестидесятых
Двадцатого... века сомнений и бед:
Поэзии и танцплощадок дощатых,
Космической эры, хоккейных побед.

Есть и необычность эпитетов, сквозь которую просвечивает характер дарования:

Читал молитву иеромонах.
И я вослед в смирении крестился.
И святой крест таинственно светился,
Как кровавой потусторонний знак.

Здесь «кровавой» играет особую роль, крепко омывая сознание читающего различными ассоциациями.

В. Макаренков творит своеобразнейший поэтический манускрипт, и, открытый миру, он требует острого слуха и чуткого сердца...